



ДЕН ГУДВИН

**МЕЖДУ ЛЬДОМ
И СОБОЙ
ДРУГИМ**

ХРОНИКА О ВЫЖИВАНИИ РАЗУМА

Ден Гудвин

**Между льдом и собой другим:
хроника выживания разума**

«Автор»

2026

Гудвин Д.

Между льдом и собой другим: хроника выживания разума /
Д. Гудвин — «Автор», 2026

Ледяная бездна. Сорок тонн снега и льда. Ноль шансов. Но один человек отказался умирать. Фрол Сугробов привык полагаться на силу и опыт: горы для него были стихией, которую можно приручить. Пока лавина не стерла иллюзию контроля, погребя его в ледяной полости на склоне вулкана. Оторванный от мира, раненый и обессиленный, он понимает: мышцы здесь бессильны. Главное испытание — не выбраться наружу, а сохранить разум, ту хрупкую часть личности, что живёт за лобной долей и делает нас людьми. В темноте, где реальность плывёт, каждый удар ледоруба — акт воли, каждый день — выбор между сознанием и инстинктом. Ему помогает то, что сильнее страха: любовь, память о себе прежнем и смысл, который нельзя отнять. История основана на реальных событиях. Имена и детали изменены.

© Гудвин Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|--|----|
| Глава 1 - День 1, ... Глава 4 - День 4 | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 12 |

Ден Гудвин

Между льдом и собой другим: хроника выживания разума

Глава 1 - День 1, ... Глава 4 - День 4

День 1. БЕЛАЯ ТИШИНА МЕЖДУ ВДОХОМ И ВЫДОХОМ

Фрол Сугробов шёл по жизни, как по сухому лугу под солнцем — размашисто, легко, с улыбкой и детским любопытством в глазах.

Всё ему было интересно, всё получалось — а если вдруг нет, он просто брал другую «яркую игрушку», ведь жизнь была полна ими. Он был большой и сильный, добродушный, как большинство больших и сильных, и люди шли за ним, не задумываясь: он знал, куда идти, чтобы было весело, безопасно, по-человечески хорошо.

Безопасность? Он о ней не думал — он *был* безопасностью. Лавины, перевалы, ночёвки под открытым небом — всё это было частью игры, в которой он давно перестал проигрывать. Даже редкие завистники молчали: с Фролом лучше не спорить — он не злился, он просто шёл дальше, а ты оставался позади, маленький и незаметный.

Имея четыре свободных дня перед новым заездом туристов, он легко согласился пойти с другом на восхождение.

— Одна нога здесь, другая — там, — бросил он на прощание, смеясь.

Он не знал, что эти слова станут проклятием.

Что «там» окажется не вершина, а бездна. Что уверенность — не сила, а привычка. А привычки рушатся в ту же секунду, когда лавина решает: хватит.

Снег ударил. Закрутил. Лавина несла, вертела, давила. Фрол старался плыть в движущемся потоке — рвал руками, бил ногами, хватал пустоту. Снег был живой. Безликий зверь. Он глотал. Он топтал. Тело вертелось в белой пелене.

Хруст. Больно! Левая — удар о что-то твердое, обжигающая боль пронзила до плеча. Потом что-то стукнуло в затылок — вспышка. Сознание сорвалось, как лыжа с крепления. Провал. Мрак. Тишина.

...И вдруг — свет. Не внешний, не физический. Тёплый, внутренний, как луч сквозь ледяную трещину. Где-то в глубине мрака, в безвременье, в тишине — движение. Мягкое, почти неуловимое. Мысль. Образ. Лицо.

Золотоволосая девочка, трех лет, щёчки румяные, глаза — как два озера, в которых отражается всё, что он когда-либо любил. Она стоит перед ним, чуть покачиваясь на носочках, в розовой курточке с зайцами, и протягивает ладошку. В ней — её самый любимый брелок: маленький, мягкий слонёнок, полосатый, как радуга, с блестящим колечком, который она всегда носила на своем рюкзаке.

— Папочка, — говорит она, и голос её звучит как музыка, — этот слонёнок будет тебя беречь, как я тебя люблю.

Слова проникают сквозь толщу боли, сквозь снег, сквозь страх. Они дрожат в сердце, как струна. Он чувствует — не кожу, не кости, а саму суть себя. Он вспоминает, кто он. Зачем он. Ради кого.

Сознание возвращается не как вспышка, а как пульс. Он — Фрол. Он отец. Он жив. И он должен выбраться. Потому что даже здесь, под толщей снега, вместе с ним — на его спине, на рюкзаке — висит тот самый слонёнок, её любимый, полосатый, радужный, который бережёт

его так, как она его любит. И это любовь — живая, тёплая — не даёт ему исчезнуть, пробуждает к жизни.

Очнулся. Темно. Давит. Не двинуться... Тяжесть. Давит грудь. Воздух исчез. Внутри — только глухой, вязкий хрип. Он шевелит пальцами. Один. Второй. Третий — не слушается. Лицо в снегу, веки слиплись.

Воздух... Где воздух? Паника. Пространство для воздуха — нужно создать пространство. Без воздуха — конец. Спокойно. Работай. Шевели пальцами. Левая — жива, свободна. Правая — застряла. Ледоруб. Темляк. Здесь. Удержал. Правую вытащить нельзя: ледоруб — последняя надежда. Дыши. Растолкать перед лицом — пока не застыло! Снег тяжелеет. Камнеет. Становится льдом. Пространство сжимается.

Фрол рычит. Бьётся. Лево́й расчищает перед лицом. Снова вдох. Снова выдох. Воздуха почти нет. Когда остаётся только дыхание — каждый вдох победа. Снег хрустит. Тело дрожит. Боль пронзает плечо. Не останавливаться! Спина выгнута. Грудь стонет. Снег давит. Но Фрол тоже давит. Назад. Вперёд. Шевелится. Жив. Жизнь ещё здесь: между кристаллами льда и страхом.

Кровь с головы стекла через глаз в рот — значит, голова вверху. Шевелиться изо всех сил! Ещё поддаётся. Ноги напрячь. Толкать! Поддаётся. Ещё! Нога провалилась. Пустота. Подо мной — пустота? И воздух!

Фрол начал проваливаться и повис на правой руке, на темляке ледоруба. Как глубоко там? Может быть это глубокая трещина во льду? Фрол поворочался и увидел: глубина около четырех метров, внизу лед и скала, и ручеек течет к свету. Там выход! Там вода и воздух! Мне туда! Фрол рванул за темляк, выдернул ледоруб и сполз в ледяную полость.

Он встал в полный рост. Вокруг — тишина. Но не мёртвая, как в толще снега, а живая, наполненная чуть слышным журчанием. Фрол огляделся. Полость. Слева — лёд, гладкий, матовый, со вздутиями и линиями старых замерзших струй. Справа — шершавый камень, почти чёрный, с жилками кварца. Между ними — узкая, но настоящая пещера.

По дну петлял тонкий ручеек. Сейчас он едва жил — тихий, почти незаметный, но в конце дня, должно быть, оживал и стекал громче, бодрее. Он шевелил ледяную кожу полости, как будто напоминал: «я здесь». Тихо журчал. Далеко, глубже, в тени подлёдных извивов, слышался отклик — словно вода вливалась куда-то, в больший поток, в подземную жизнь, о которой Фрол мог только догадываться.

Он подполз к месту, где свет просачивался сквозь лёд. Прозрачная корка мерцала холодной голубизной. Там, где тонкий язык ручейка проел себе выход, образовалась крошечная ледяная пещерка — просвет, окошко в другой мир. Оттуда струился воздух. Оттуда лился свет. Там была свежесть. Может быть, — подумал он, — дальше ручей шире. Может, там просторная ледяная галерея. Может, выход. Поверхность. Надежда и сомнение сцепились внутри. Там, за этой ледяной коркой, был мир. Было спасение. Он приложил лицо к просвету. Ветерок коснулся кожи — тонкий, как дыхание во сне. Фрол зажмурился. Это не замкнутая тюрьма. Здесь есть воздух. Свет. Шанс. Здесь можно жить. Не навсегда. Но достаточно, чтобы продержаться. Он шепнул в темноту: — Живой... Я ещё живой.

Мир сузился. Нет, не сузился — он исчез, растворился, как призрак, оставив вместо себя лишь несколько жалких метров пространства, заключённых между камнем и льдом. Но и это не было убежищем. Нет, это было откровением. Срезом бытия, обнажённым до боли, до крика, до последнего вздоха. Пещера не укрывала — она обнажала. Она становилась миром, не как утешение, но как приговор.

Граница его существования — не километры, не планы, не цели. Граница — это холод. Камень. Тишина, глухая, как смерть. Всё, что осталось — вытянутая рука, и даже она дрожит, не зная, есть ли смысл в движении.

Он не думал: «Я здесь». Он не мог думать. Мысль — роскошь живых. Он ощущал: «Я нигде». И это нигде было не пустотой, а сущностью. Психика, измученная, изломанная, не восстанавливалась — она отступала, как армия, потерявшая знамя. Слои сознания — как ледник: внешний треснул, внутренний застыл, а глубинный — тот, что не говорит, а шепчет — начал звучать.

И в этом звучании — не логика, не разум, а нечто древнее, первобытное, почти святое. Страдание, как путь. Одиночество, как истина. И, быть может, в этом — начало чего-то большего, чем жизнь.

Пещера... Да, пещера. Не убежище, не приют, а — как бы сказать — исповедь пространства, его последняя правда, обнажённая и неумолимая. В центре — от четырёх до пяти метров в высоту, но не в этом суть. Там, где сверху втекал ручеёк, свод опускался, давил, как совесть, как груз мира, как вопрос: способен ли ты, человек, вынести вес бытия, не сломавшись?

А внизу, где вода вытекала в свою ледяную нишу, потолок был ниже, но стоять можно было. И это уже было благословением. Стены — узкие, как границы человеческой души, — протиснуться можно, но прожить? Прожить — это уже не геометрия, это уже нравственная категория. Пространство не измерялось метрами, оно сжималось до внутреннего переживания, до той точки, где человек перестаёт быть телом и становится болью.

Пещера — изломанная лента, свернувшаяся по рельефу скалы, не созданная рукой, не построенная временем. Только вода — как подсознание, как память, как след греха — выливалась грани, где прежде был жар, страх и смысл. И теперь — только холод, только тишина.

Капля. Одна. Потом другая. Пауза. Затем — кап-кап-кап. Не звук — ритм. Не сигнал — пульс. Пещера отзывалась, как тело, утратившее функцию, но не смысл. Она не принимала гостя — она принимала клетку, больную, изломанную, ту, что должна не умереть, а перегруппироваться, чтобы не исчезнуть.

Он устроился. Не удобно — нет, удобство было бы кошунством. Приемлемо. Под выступом скалы — сухое пятно, как милость. Он сгреб мокрый вулканический шлак, разровнял его, как бы говоря: «Я вижу тебя, земля. Прими меня, не как победителя, а как остаток». Палатку он уложил не ради сна, а ради границы — между «внутри себя» и «снаружи мира». Каремат, спальник — не вещи, а оболочки, как кожа, как защита от распада.

Он замер. Слушал. Вода — как голос. Лёд — как шепот. Камень — как молчание. А он — перестал думать. Не потому, что не хотел, а потому, что мысль — это роскошь, а он был нищ.

Но это не был отдых. Это была заморозка души. Он не заснул — он отключил каналы обратной связи. Не принимать. Не перерабатывать. Не реагировать. Не жить — но и не умирать.

— Хватит. — Не думать. — Не вспоминать. — Не бояться.

Это не были приказы. Это были выключатели. Он не бежал — он застывал. Как травма, которая не хочет лечиться, но требует времени, чтобы перестать кровоточить.

Он уснул. Не от покоя. А от невозможности дальше бодрствовать. Сон — как милость тела, когда душа больше не справляется.

День 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАДЕЖДЫ И ВИНА САМОНАДЕЯННОСТИ

Фрол очнулся. Не от света — его не было. Не от звука — тишина была глухой, как могила. Он проснулся от собственного дыхания — резкого, хриплого, как будто рядом кто-то храпел, тяжело, с надрывом. Но рядом — никого. Ни человека. Ни тени. Только лёд. Только скала. Только он — один, как мысль, от которой нельзя убежать.

Он лежал, не двигаясь, и в этом неподвижном теле — только один вопрос, как заноза в сознании: Гена? Выжил ли? Или исчез, как всё исчезает в белой бездне, без следа, без прощания?

Фрол вспомнил — наст ожил, как зверь, как предатель, оторвался по их следу, будто по перфорации, будто сам путь решил их разорвать. И Фрол успел только крикнуть: «Плыви!» — крик, не как команда, а как молитва. Потом — всё. Белое. Бездна. Пустота.

Гена... Он был лёгкий, почти невесомый. Маленький, как щепка, как мысль, которая может всплыть, если не утонет в страхе. Гена шёл медленно, не в темпе Фрола, и потому он взял на себя почти всё: еду, посуду, снаряжение. У Гены в рюкзаке остались только спальник, коврик и личная мелочь.

Если он выбрался... если лавина не проглотила его, как проглатывает всё живое, — значит, он уже ищет. Может, вернулся на базу. Может, сообщил. Может, живёт — и это уже чудо.

Фрол прислушался. Не к миру — к судьбе. Тишина. Только ручеёк — как голос, как шёпот, стал звучать громче. Ни крика. Ни скрипа шагов. Ни знака. Ни ответа.

И в этой тишине — не одиночество, а приговор. Не страх, а знание. Он — один. И если Гена жив — то где-то там, в другом измерении, в другой реальности, где ещё можно надеяться. А здесь — только лёд. Только скала. Только он. И дыхание — как доказательство, что он ещё не исчез. Но уже не жив. Не совсем. Не до конца.

Надеяться... Да, он надеялся. Мысль о том, что Гена выбрался, держалась в сознании, как спасательный круг в ледяной воде, — не потому, что была разумной, а потому, что была необходимой. Без неё — провал, бездна, тьма. Он цеплялся за неё, как утопающий за щепку, не веря, но нуждаясь.

Если всё в порядке — Гена уже идёт к базе. Уже сообщил. Уже ищет. Уже живёт. Но это — если. А если нет? А если белая пасть лавины разверзлась и проглотила его, как проглатывает всё живое, не спрашивая, не выбирая?

Фрол почувствовал, как эти образы — тяжёлые, липкие, как снег, попавший за воротник, — начинают проникать внутрь. Он с усилием, почти физическим, отогнал их. Не думать. Не видеть. Не знать. Потому что знать — значит принимать. А принимать — значит терять.

Он не мог позволить себе потерю. Не сейчас. Не здесь. Не в этом ледяном карцере, где каждая мысль — как удар, как трещина в стене, как шаг к безумию.

Он сжал кулаки. Не от злости — от отчаяния. И в этом сжатии — вся его вера. Вера не в спасение, а в то, что Гена — жив. Потому что если он не жив — тогда зачем всё это? Зачем боль? Зачем борьба?

И он продолжал надеяться. Не потому, что верил. А потому, что иначе — нельзя. Иначе — конец. Иначе — пустота. Иначе — смерть, ещё до смерти.

Надо думать иначе... — промелькнуло в голове, как слабый отблеск надежды, как попытка разума удержаться на поверхности бездны. На базе хватятся. Должны хватиться. Через два дня — заезд туристов. Всё должно идти по порядку, по расписанию, по человеческому плану. Но ведь разве человек — существо планомерное? Разве не в нём самом — хаос, тревога, безумие?

Когда баржа, глухо урча, оттолкнулась от причала и поплыла к теплоходу, Фрол почувствовал, как будто из него вынули что-то важное, неуловимое, но необходимое. Всё прошло — да, всё прошло. Никто не потерялся, никто не упал в кипяток, все живы, улыбаются, машут руками, кричат «спасибо!» — и всё же внутри, в самой глубине, как будто выключили звук. Не тишина — нет, хуже: пустота.

— Слушай, Фрол... — произнёс Гена, не отрывая взгляда от удаляющейся баржи, — а у тебя тоже... в животе так... сжалось?

Фрол кивнул, не сразу, будто с усилием возвращаясь из каких-то внутренних дебрей:

— Будто нас бросили... Хотя ведь мы их проводили. Мы — остались.

Они замолчали. Молчание было не между ними — оно было в них. Как будто мир, привычный, шумный, живой, вдруг отступил, оставив только себя — себя настоящего, обнажённого, тревожного.

Над бухтой шумели чайки — огромные, белые, как призраки, вычерчивающие в небе круги, будто искали смысл, которого нет. Они держались близко к воде, поглядывали на сейнер, старый, потрёпанный, как сама жизнь. Он стоял на якоре, ждал. Люди на палубе — рыбаки, простые, молчаливые — готовились к делу, к труду, к борьбе. Сеть была заброшена на рассвете, и теперь — ожидание.

Чайки знали: если сеть удачна, потянется серебристая сельдь, и тогда — пир, свобода, крик, жизнь. Пока же — ожидание. Они пикировали, спорили, ловили брызги — как люди, как души, как мысли, не находящие себе места.

И Фрол смотрел на них, и думал: может, и мы — такие же? Летаем, кричим, ждём... А сеть — уже заброшена. Только кто её потянет — и что в ней окажется?

Был август. Начало его — как предчувствие чего-то важного, неотвратимого, быть может, даже рокового. День выдался ясным, почти вызывающе ясным, как будто сама природа решила на миг приостановить своё вечное движение, замереть в безмолвии и показать человеку — вот, смотри, как может быть, если бы не ты.

Небо — безмолвное, без единого облака, как чистая совесть, которую никто не видел. Воздух — прозрачный, лёгкий, как стекло, но ведь стекло — хрупко. И в этой хрупкости — тревога. Сопки на дальнем берегу отливали зеленью — густой, бархатной, почти торжественной, как мантия монаха, скрывающего тайну. Волны в бухте лениво скатывались к гальке, как будто сама вода устала жить, устала двигаться, и теперь дышала — мягко, тяжело, как сонный зверь, которому не снилось ничего, кроме одиночества.

От воды тянуло прохладой — солоноватой, свежей, насыщенной, как дыхание старого моря, которое помнит всё: корабли, утопленников, крики, мольбы, тишину. Пахло йодом, тиной, водорослями — всем тем, что живёт и умирает, не спрашивая, зачем. Камни, прогретые солнцем, хранили тепло, как память, которую не стереть. А ещё — запах дерева, сухого, солёного, нагёртого пятками, вёслами, временем. Оно было выжжено солнцем до серо-золотистого оттенка — как будто само солнце пыталось оставить на нём след, знак, напоминание.

И всё это — воздух, запахи, цвета — висело вокруг, не как туман, нет, а как мысль, не высказанная, но живущая. Как чувство, которое не имеет имени, но которое знает каждый, кто хоть раз стоял на берегу и смотрел — не на воду, а в себя.

Тишина. Не просто отсутствие звука — нет, не так. Это была тишина, как состояние души, как пауза между мыслями, как взгляд внутрь себя, от которого не отвести глаз. Туристы уехали накануне, и с их отъездом всё будто выдохнуло — не облегчённо, а с какой-то странной тоской, как человек, оставшийся один в комнате, где ещё пахнет чужим присутствием.

Вся турбаза замерла. Не по приказу, не по необходимости — а по какому-то внутреннему велению, как будто сама природа решила остановиться и подумать. Так бывает после ярмарки, после бала, после смеха, после жизни — когда всё вдруг остаётся наедине с собой, и в этой одинокой минуте слышно то, что обычно заглушено: дыхание стен, шорох травы, память.

Трава у тропинки не колыхалась — будто боялась потревожить молчание. Оконные стёкла смотрели в мир, как глаза, уставшие от света. Колокольчик на дверях столовой висел неподвижно, как будто знал, что его звон — сейчас был бы кошунством.

Четыре дня. Всего четыре дня до прибытия следующего теплохода. Четыре дня — как вечность, как испытание, как возможность услышать себя. И в этой тишине — не покой, нет, а напряжённое ожидание, как перед бурей, как перед откровением, как перед тем, что должно случиться, но ещё не случилось.

Фрол стоял на тропе, у самого склона, и шурился — не от света, нет, а от чего-то внутреннего, от напряжения, от мысли, которая не давала покоя. Бухта была залита солнцем, как будто сама природа решила показать человеку, что может быть свет, может быть покой, может быть — свобода. И в этом свете плечи Фрола расправлялись — не от гордости, не от силы, а

от редкой, почти забытой пустоты. Пустоты, в которой нет нужды объяснять, считать, следить, быть. Просто быть.

Четыре дня. Четыре дня свободы — странной, тревожной, почти пугающей. Свободы, которая не дана, а выстрадана. И если уговорить Алину Петровну — можно уйти. Не по табелю, не по приказу, а просто — уйти. Пройтись. Обновить метки, вспомнить повороты, почувствовать, как тело снова становится живым, как оно включается — не по обязанности, а по внутреннему зову.

А ведь тянуло — да, тянуло — на вершину. На ту самую, вулканическую, безупречную, как мечта, как идея, как Бог. Она дразнила, манила, молчала. И в этом молчании — вызов. Не природе — себе.

Гена стоял рядом. Молчал. Подобрал камешек — плоский, серый, как мысль, которую не высказали. Крутил его в пальцах, прикидывал — можно ли метнуть так, чтобы не задеть чаек, чтобы попасть сразу в две дорожки от волн. И в этом движении — вся человеческая суть: стремление к точности, к красоте, к невозможному.

Чайки кружили над водой, кричали, спорили, как души, не нашедшие покоя. А Фрол смотрел — и думал: может, и мы такие же? Метим камешки в воду, надеясь попасть, надеясь не задеть, надеясь — быть.

Алина Петровна сидела в своём тесном кабинете, где воздух был густ от бумаги, от времени, от молчания. Лицо её было неподвижно, как у человека, привыкшего к ответственности, но уставшего от неё. Документы лежали перед ней, как немые свидетели чужих маршрутов, чужих ошибок, чужих жизней.

Когда они вошли, она не подняла головы сразу — только скосила глаза исподлобья, как будто не на людей смотрела, а на намерение, на мысль, на тревогу.

— Вы чего, скучать начали? — произнесла она, не спрашивая, а утверждая, как будто знала ответ заранее.

Фрол виновато улыбнулся — не от вины, а от того, что не знал, как иначе быть.

— С тоски пухнем, — сказал он, и в этих словах было больше правды, чем он сам хотел признать.

Гена, стоявший рядом, добавил, почти оправдываясь:

— Четыре дня до следующего заезда. Мы подумали: чего зря сидеть? Мы бы маршрут прошли, метки проверили...

Фрол подхватил, торопливо, будто боялся, что мысль исчезнет, если её не сказать:

— И на перекрёстках таблички освежили...

Алина Петровна вздохнула. Не громко — но так, что в этом вздохе слышалась вся тяжесть её должности, её дней, её понимания.

— Вот вернулись с маршрута — и снова в дорогу, значит? Силы в порядке, животы сыты, усталости не видно... Ну, если так хочется — поправьте маркировку. База от этого только выиграет. Только дополнительных продуктов не ждите. По табелю вы сейчас в отпуске, так что всё — на вашей ответственности. И теплохода не проспите, ладно?

Гена кивнул. Тихо. Почти неслышно.

— Мы быстро, — сказал он, и в этом «быстро» было не обещание, а просьба. Как будто он просил не разрешения — а понимания.

— Да-да, — поспешно добавил Фрол. — Одна нога здесь — другая там.

Только теперь, когда, лёжа в темноте, под ледяным сводом, где дыхание само становилось чужим, он вспомнил — вспомнил с той горькой ясностью, которая приходит не к разуму, а к душе, измученной страхом. Как уверенно он это произнёс. Даже не задумываясь. Шутка, да. Фраза для выхода, для смеха, для легкости. «Одна нога здесь, другая — там». Сказано было с тем беззаботным вызовом, который так легко даётся, когда человек ещё не знает, что будет потом.

А потом — всё. Всё случилось. Всё перевернулось. И теперь эти слова, произнесённые в шутку, казались не просто глупостью, а предвестием. Как будто он сам, не ведая, вызвал судьбу, позвал её, как зовут зверя — и зверь пришёл.

Они не сказали. Никому. Ни о вершине, ни о старой тропе, ни о перевале. Не сказали — и в этом было не просто молчание, а гордыня. Гордыня человеческая, вечная, та самая, что толкает на поступки, за которые потом расплачиваются не словами, а телом, кровью, жизнью.

Если они не появятся до теплохода — начнут искать. Да, конечно. Может, поднимут вертолёт. Если повезёт с погодой. Может — через четыре дня. Может... Слишком много «если». Слишком много «может». А жизнь — она не терпит неопределённости. Она требует действия. Требуется выбора. Требуется — боли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.